

Марк Харитонов

Разговоры шестидесятых

Для меня было когда-то неожиданностью прочесть у Элиаса Канетти, что он в своих дневниках пользовался «видоизмененной стенографией, которую невозможно расшифровать, не посвящая этой работе неделю за неделей. Так я могу записывать все, что хочу, не вредя и не причиняя боли ни одному человеку, и, став наконец старым и умным, решить, уничтожу ли я дневник окончательно или спрячу в надежном месте, где его можно будет найти только случайно, в безопасном будущем».

У меня ведь, оказывается, было то же самое! Более полувека назад, отправившись надолго в больницу, я взял с собой самоучитель стенографии по особой системе одного ростовского преподавателя, чтоб на досуге попрактиковаться, — и с тех пор большинство повседневных записей делаю этими едва ли кому понятными закорючками. Кроме причин, упомянутых Канетти, кроме дополнительной, специфично советской опаски, они давали еще преимущество, для которого были, собственно, предназначены: скоропись.

Из таких записей составились уже две мои книги, вышедшие в московском издательстве НЛО: «Стенография конца века. 1975–1999» (2002) и «Стенография начала века. 2000–2009» (2011). В предисловиях к этим книгам я отмечал, что значительная часть моих записей до сих пор остается нерасшифрованной. Прежде всего это практически все записи, сделанные до 1975 года. Возвращаясь к ним время от времени, я обнаруживаю там немало интересного, подчас совершенно забытого. Интересны не только встречи и разговоры со знаменитыми людьми, среди которых были мои друзья (в книгах «Стенография конца века» и «Стенография начала века» можно услышать голоса Д. Самойлова, В. Сидура, Г. Померанца, Н. Эйдельмана, Ф. Искандера, Б. Хазанова, Вяч.Вс. Иванова и многих других). Уже позднее в разных изданиях под рубрикой «Разговоры» были опубликованы более ранние мои беседы с В.А. Каверинным, С.И. Липкиным, Г.С. Кнабе. Не менее интересными кажутся мне разговоры с людьми незначительными, не имеющими отношения к литературе.

Общаясь с рабочими, военнослужащими, людьми разного рода занятий, я узнавал о жизни больше, чем мог бы прочесть в книгах и тем более в тогдашних газетах. Без стенографии я, пожалуй, не записывал бы так много (и между прочим, так точно, по свежей памяти). Записывал, конечно, не без писательской корысти — в надежде использовать потом что-то для своих сочинений. Можно вспомнить, что из таких разговоров, записанных на магнитофон, составлены книги Светланы Алексиевич. Но они готовились и выстраивались под заранее заданную тему. У меня здесь документированы и запечатлены не более чем случай-

Об авторе | Марк Харитонов (1937 г.р.) — прозаик, эссеист, поэт, переводчик. Лауреат первой в России Букеровской премии (1992). Постоянный автор «Знамени». Живет в Москве.

ные встречи. Необработанные записи читать сейчас, право же, не менее интересно. Погружаешься в уже порой забытую атмосферу, ощущаешь дух времени.

Начну с тех самых, первых записей 60-х годов, сделанных в Боткинской больнице, где я лежал в мае 1962 г., а потом, после короткого пребывания дома, в июне (меня там оперировали 13.06.62). На первых порах я не всегда ставил даты; многие записи делались для какой-то повести, над которой я тогда работал. Воспроизвожу здесь только некоторые, сделанные в разные дни.

1962, МАЙ, ИЮНЬ

Аркадий Маркович Левин

Мы лежали с Аркадием Марковичем в разных палатах, познакомились в ожидании какой-то процедуры, а потом много разговаривали, прохаживаясь по коридору. Я с особым интересом слушал рассказы этого человека. Он был арестован в 1937-м году вместе с группой военных, хотя отношение к ним имел лишь косвенное. Муж его сестры, некто Яков Давидовский, комендант Кронштадтской крепости после подавления мятежа, был затем начальником штаба у Блюхера. И когда Блюхер с ним приезжали с Дальнего Востока в Москву, они часто собирались на его квартире, вместе с Корком, Якиром и др., там устраивали попойки. (Они привозили корзины белого хлеба, что в те годы, при карточной системе, было роскошью.) О том, что творилось в тюрьмах 1937-го, мы тогда почти ничего не знали. Солженицын для нас еще не появился. Для меня это были едва ли не первые свидетельства очевидца. Хотя кое-что в них требует, наверно, документальной перепроверки, память рассказчика спустя столько лет бывает не совсем точной; об оценках не говорю.

Я был на допросе вместе с Эйдманом, председателем Осоавиахима. У него были выбиты все зубы и разодрана щека. У меня тоже выбили зубы (Аркадий Маркович возбужденно вынул протезы, один за другим), — перебили барабанные перепонки. Да... все рассказать — вы не поверите.

Обвинение составлялось так: «Ф.И.О. обвиняется в том, что, просясь из мелкобуржуазной семьи и будучи членом контрреволюционной организации, он хотел убить Сталина» (или взорвать Кремль, или стрелять в демонстрацию), и т.п. Никаких доказательств, только «хотел». А то, что хотел, человек подтверждал сам. И попробуй не подтвердить, когда тебя допрашивают трое, и один кричит в ухо: «Сволочь!», а другой бьет, третий старается наступить на пальцы и раздавить их каблуком... Э, я не хочу рассказывать, какие способы применялись, вы не поверите. «Признаешься?» — «Нет». Раз! — выбивают зубы. «Признаешься?» Раз! — барабанную перепонку. От одного ужаса можно сойти с ума. Были такие, кто сразу раскалывались, чтобы избежать мучений. И в этом была своя логика. Но ведь, кроме того, что ты признаешься сам, ты должен выдать еще 20 своих сообщников, которых тебе назовут и которых ты в глаза не видел. Некоторые держались. Те, кто помоложе, сильнее. Так и умирали. Я тоже ничего не подписал. Был тогда здоровый, спортсмен... Возможно, это анекдот, но говорят, что после каждой подписи Зиновьева с Лубянки выезжали 20 машин.

Кто действительно держался до конца, так это поляки. Их всех сажали. Они ничего не подписывали, так и шли в могилу. Их я никогда не забуду. Вечное мое к ним уважение. Правда, они все были уже пожилые люди, профессиональные революционеры. О, вы не знаете, кто такие были профессиональные революционеры. Это несгибаемые люди, они прошли царскую ссылку, каторгу.

Я сидел в одной камере с Колосовским. Это эсер-максималист, святой человек, я его никогда не забуду. В 1912 г. он покушался на Николая II, переодетый в форму гвардейского офицера. Прошел через всю охрану, которая состояла из

текинцев, но буквально за 15 метров от цели (он уже видел царя и его семью, которые пили чай в саду) его окликнули, и он не смог отозваться на пароль. Его сразу схватили, допрашивали. Он назвал себя вымышленной фамилией. Его пытали — он себя не назвал. Со всего Петербурга собрали филеров, сыщиков, дворников, провели его мимо них — никто его не опознал. Он был подпольщик, его не знали. То же в Москве. Наконец, его судили, приговорили к смерти, царь заменил ему смерть ссылкой в Уссурийский край. Оттуда он бежал в Японию, потом в Париж и после революции вернулся в Россию. Он сотрудничал с советской властью (как и все левые эсеры). Это был необыкновенный человек. Право же, вокруг его головы, как у Христа, сиял нимб. Как он говорил! Медленно, спокойно, уверенно. Его расстреляли.

Там было много больших людей. Я сидел сначала на Лубянке, потом в Бутырке... Со мной в камере сидел президент Белорусской академии наук Горев, председатель Госбанка Марьясин, писатель Стецкий, критик, а потом посол, кажется, в Латвии, Асмус и другие.

Что такое была камера в Бутырке, вы не представляете. Это была комната метров 24, и в ней набивалось до 200 человек. Мы стояли вот так, плечом к плечу, спали по очереди, на нарах и на полу. Ну а что творилось с парашей, вы и представить не можете. Она переливалась через край, а опорожнялась в 6 утра, приходилось сдерживаться, вот откуда сейчас у многих камни в почках и пр... Но в камере это было еще ничего, хуже, когда помещали в бокс. Знаете, что такое бокс? Это такая комната, в которой можно было только стоять. Постоишь так суток 10, обвиснешь...

Со мной сидел Черномордик, наш представитель в Коминтерне (Коминтерн весь арестовали)... Так у него из заднего прохода шла кровь. Его заставляли несколько дней сидеть на стуле... Был у нас в камере председатель Уфимской учредилки, дряхлый старик, он все время лежал на полу под нарами, уверял, что всех расстреляют прямо в камере. Один из заключенных, Н., был личным другом Ежова. Однажды в камеру вошел сам Николай Иванович Ежов, во френче, как у Сталина, с охраной. У Н. были перебиты руки и ноги, он не мог двигаться, но тут с огромным усилием вскинул свое тело, подполз к нему и со слезами на глазах стал кричать: «Николай, ты же знаешь, я ни в чем не виноват, ты же знаешь!». Ежов оттолкнул его сапогом и сказал: «Уберите эту мертвечину!»... Еще один знакомый Ежова стучал кулаками в стену и кричал: «Мерзавец! Сволочь! Я его убью!». Стецкий все время стоял у окна и пел тихо (он запел): «Ты меня не жди, моя красавица». Вообще-то у нас петь было запрещено. Но у нас были свои песни (он спел: «Ты моя родная, 58-я», «Летят чернокрылые автозаки»)...

Помню одного старого рабочего, с усами, старый революционер, он пришел с допроса потрясенный. Его допрашивала женщина, и знаете, что она ему сказала? «Мы тебя туда загоним, где ты п... не увидишь!» Он был потрясен. У него были раздавлены все пальцы, ему их оттапывали. Но главное — это моральное унижение. Я уже твердо решил, что покончу с собой. К вашему сведению, в тюрьме существует 34 способа самоубийства, детально разработанных, например, самоудушение (заглатывание языка). Хотя это было непросто. Профессор Горев попытался покончить с собой: он с разбега бросился головой на радиатор. Разбил голову, но остался жив. Его расстреляли...

Однажды я не выдержал, схватил стул за спинку и швырнул в следователя. Меня обработали так, что я тогда и сошел с ума. Поместили сначала в больницу Бутырской тюрьмы, потом дело прекратили «за отсутствием состава преступления», выдали соответствующую бумажку... Жена меня устроила на Канатчикову дачу. Вышел оттуда, потом устроился на работу в одно учреждение. Меня не хотели брать, но начальник, умный старый партиец, сказал: «Под мою ответственность»...

— В моем доме жил один крупный работник ГПУ, я его встречал на допросах. Увидел меня и схватился за голову: не может быть! Такого не может быть, оттуда никто не выходит... Он сейчас не работает в органах, перешел на какую-то работу в санинспекции, теперь на пенсии. Там мало осталось старых сотрудников, сменилось два-три состава. Но пенсии они получают большие, очень большие. Вот этого я не понимаю. За что? Ты натворил дел, так будь благодарен хотя бы за то, что тебя не расстреляли. Но повышенная пенсия! Я этого не понимал. И один мой знакомый мне объяснил: «Неужели ты не понимаешь? Их берегут, они еще понадобятся. Еще будут нужны заплечных дел мастера»... Это звери. Хотя я на них никакого зла не имею. Вы не поверите. У меня все отошло. Я понимаю, они были только пешки в страшной игре.

А я только песчинка в грандиозной драме, которая постигла страну. Через одного меня прошли тысячи человек, ну, как здесь, в приемном покое. И какие это были люди! Что я! Это был интеллектуальный цвет страны. Профессора, писатели, старые большевики. Святые люди!.. Если бы не тюрьма, я не достоин был бы сидеть у таких людей в прихожей...

Я мог бы многое рассказать. Я веду дневник с 29-го года. А отдельные записи у меня с марта 1917-го. — И вам удалось его хранить даже в эти годы? — Да. Пусть бы мне голову отрезали, я бы не сказал, где его храню. Правда, люди, у которых он хранится, могли бы сказать. Но никто не догадается про них. Это такие древние старики. А там много интересного, и никто этого не напишет. Из тюрьмы я вынес рубашку, на которой записал несколько сотен фамилий. Мне удалось пронести... Я сейчас много работаю. Надо успеть многое сделать. Если не я, то некому. Умирают уже те, кто все пережил. Да и кроме того, мне надо выполнить долг, завещание. Один товарищ, с которым я сидел, завещал мне тему рассказа. Называется он «Кого-нибудь». Я могу рассказать содержание, оно очень простое. *(Опускаю пересказ. История происходит во время Гражданской войны, надо найти виновных в гибели людей, чекист приходит к выводу, что никто не виноват, «некого брать», начальник отвечает: «Как некого? Возьми кого-нибудь»)*. Человек, который завещал мне этот сюжет, сам был участником этих событий. Это представитель ВКП(б) в Коминтерне, его фамилия Черномордик...

— Сталин был не дурак, он все резолюции о расстрелах заставлял подписывать всех членов Политбюро. У них у всех рыльце в пушку. Сейчас Хрущев делает вид, что он чуть ли не жертва Сталина, что он с ним боролся. Чуть!.. Один мой знакомый выразился так: представь, что тебе в ресторане подают чудесное блюдо, на золоте и фарфоре; но у официантов проваленные носы и сифилитические язвы на руках. Ты станешь из этих рук брать хоть самую лучшую пищу?.. Вы поняли мою мысль?.. Хрущев очень умный человек и отличный организатор. Он недаром учился у Сталина, вертелся возле кухни. Поварята тоже кое-чему научились...

Он работал когда-то в Оргбюро ЦК, в отделе организации труда, под руководством старой большевички Елены Федоровны Розмирович. Они изучали принципы организации производства; он участвовал в разработке правил, индексов, учета, документации и т. д., в организации Шарикоподшипникового завода, первой очереди Березниковского комбината...

— Что будет после Хрущева?.. Самый реальный выход — диктатура. Помните мои слова: Сталин начал расстреливать через 10 лет после прихода к власти... А потом наступит реакция со стороны народа. Я знаю, что в разных слоях зреют сильные грозды гнева... Я даже рад, что моих соплеменников нет в руководящих органах. Ни в одном обкоме, ни в одном исполкоме больше нет евреев. Так что если что-нибудь случится, то не будет опять вынут старый заржавленный русский меч...

Нас было у отца 13 детей. Мой дед был рабочий, столяр-краснодеревщик. Мы жили в Витебске, в черте оседлости. Все мои братья и сестры участвовали в революции. Быть революционером считалось доблестью. К тому же в этом была романтика. В 1920 году я попал в город Ч. (*название неразборчиво. — М.Х.*) На город напала банда атамана Григорьева, перебила красных и устроила кровавый еврейский погром. Затем к городу подошли полк имени Троцкого и полк мадьяр, выбили атамана Григорьева. И я вступил в отряд ЧОН, был заместителем начальника части. Потом был в отряде по борьбе с бандитизмом. Моя сестра, белошвейка, была знаменитой революционеркой, социал-демократкой, искровкой. Ее защищали на процессе Керенский и Зарудный. Она отсидела несколько лет в Варшавском равелине.

Жена у меня была русская, дочь священника, тоже замечательная женщина. Она была военкомом (женщина!) отряда, который подавлял Кронштадтский мятеж, четыре раза проваливалась под лед. Теперь она не хочет этого вспоминать, не понимает, зачем все это делала...

В одно из воскресений 1952 г. я, вместо того чтобы отдыхать, как все мои соседи, позвонил в справочное бюро и узнал, какие курсы работают по воскресеньям. Мне сказали, что работают курсы пчеловодов и фотографов. Я записался на курсы пчеловодов. Сдал на отлично теорию и практику. Из всех курсантов только двое, я и еще один мой товарищ, входили к пчелам без сетки. Правда, вначале мы ходили опухшие, но потом это стало совсем безопасно. Через 8 месяцев я получил диплом, а еще через 2 месяца поступил на курсы фотографии. Там я тоже сдал на отлично теорию и практику. Делал я это с одной целью: я ждал, что мне придется перейти на нелегальное положение, как еврею. Вы же знаете, что вслед за процессом врачей должна была произойти гигантская провокация, выселение всех евреев из центров, а затем Сталин хотел довести войска до Ла-Манша. Общественным обвинителем должен был выступить Эрэнбург. И я готовился к тому, чтобы уехать, жить где-нибудь в уголке, с чужим паспортом, слегка изменив внешность. Но этого делать не пришлось...

Песня, которую мне напел А. М.

Летят чернокрылые автозаки
В московской ночной тишине,
Летят на Лубянскую площадь
К кровавым стенам МГБ.
Везут в них любимых народом
И партии верных сынов,
Везут в них борцов за свободу,
За счастье, за дело отцов.
Пытают их в темных подвалах
И кровь их реками там льют,
Но Ленина знамя святое
Ежову они не дают.
Их жен и детей высылают,
Родителям жить не дают,
Но Ленина знамя святое
Ежову они не дают.

Примеч:

Ты моя родная 58-я,
Вечная ты спутница моя.

Из анекдотов, которые рассказывал мне А.М.

Когда кончился НЭП, нэпманов стали высылать из Москвы. Нэпман Канторович встревожился. Пошел к адвокату, и тот ему дал совет. Он написал в ГПУ письмо: «Нэпман Канторович хочет бежать из Москвы, примите меры». На другой день его вызвали и взяли подписку о невыезде.

После сталинского указа 1947 г. о недоносительстве (беспрецедентного в мировой юридической практике) Канторович прислал в Москву телеграмму: «Вся Одесса ворует. Снимаю с себя ответственность».

Канторович решил кончить жизнь самоубийством, взошел на Эйфелеву башню, посмотрел вниз и сказал: «Об спрыгнуть не может быть речи, помогите сойти».

Поспорили, у кого лучше химия. Француз сказал: «У нас из воды делают духи. Не понравилось — плюнем, дунем, снова вода». Американец: «У нас из свиней делают сосиски (то же продолжение). Русский: «Что у вас! У нас: берем навоз, плюнем, дунем — министр. Не понравилось, плюнем, дунем, опять навоз».

Из других разговоров в больнице

...6.62. (приблизительную дату нетрудно уточнить). Сегодня врач из Шахт рассказал мне, что на Дону происходят кровавые события. Восстали казаки и шахтеры. Волнения связаны с повышением цен на мясо и со снижением ставок горнякам. Уже три дня нет добычи угля. Ему сказали об этом перед операцией, сейчас он беспокоится за родных.

Еще из разговоров, без даты

Сосед по палате, Коля: «Почему мне нельзя делать операцию?» — «Ты слабый». — «Ну и что? Дохлые кошки дольше живут. Знаешь, какие они живучие? Или гнилое дерево. Скрипит, скрипит, а стоит дольше всех».

«У тебя жена толстая?» — «А что?» — «Толстые добрые».

В 12 часов Коля попросил: «Поставь мне грелку. У меня ноги холодеют». В 4 часа он умер.

Г.: «Я уже думал: может, для таких лучше умереть? Ведь разве это жизнь? Это существование. Все его дразнили...».

Юра Братишка тяжело просыпался после наркоза. Стонал, скрежетал зубами (как будто проводили ножом по зубьям расчески). Когда открывал глаза — взгляд мутный, желтый, невидящий. Дышал тяжело, как будто тонул. Очнулся: а, это ты, Марк. Попытался бодро улыбнуться — и опять в забвенье. (Потом рассказывал: вижу тебя, и тут же ты удаляешься, расплываешься.) Часто-часто мотал головой, то и дело спрашивал: «Сколько минут до звонка из Небит-Дага?» — «Если позвонят, что передать?» — «Передай... — и уже забыл, о чем говорил. — Передай привет всем живым». И опять ничего не слышит. От него сильно пахнет эфиром. И хотя он ничего не сознает, когда ему говоришь: открой рот и дыши глубже — он слушается. По вискам на подушку текут слезы, во рту пузырится слюна.

Потом спрашивал: я не кричал?

Из более поздних записей, 1966–1968 годов: когда я долечивал свой туберкулез почек в Крыму, в алушкинском санатории «Солнечный». Туберкулезники в со-

ветское время пользовались, надо сказать, немалыми привилегиями, в санаторий посылали бесплатно и не на один месяц. Мои собеседники — такие же пациенты, экскаваторщик, грузчик, шахтер. Художница Тамара Андреева в связи с болезнью получила в Алушке жилье, мы с ней потом переписывались, она присылала мне свои рисунки. К сожалению, ее давно уже нет в живых.

И заключительный разговор — с попутчиками в поезде «Верховина», Львов — Москва.

1966, НОЯБРЬ

Костя Аганесов, экскаваторщик из Туркмении, 1928 года рождения:

— Я не могу, Марк, понимаешь? Я пойду работать. Здесь возле Мисхора дорогу ремонтируют, экскаватор работает. Пойду, попрошусь на экскаватор. Им экскаваторщик нужен. Хоть по три часа в день буду работать. У меня душа болит, понимаешь? Ребята сейчас костер развели, рыбу ловят в канале. На глассере можно покататься, на катере... Конечно, врач не разрешит мне работать, но я без спроса буду уходить. Какая марка, для меня не имеет значения, лишь бы называлось «экскаватор». Я на всех марках работаю...

Я в Каракумах работал. Первая очередь канала, самая трудная. Вода ржавая. Я такую простыню — видишь? — в четыре раза складывал, через нее воду пропускал и пил. Но я знал, что за эту работу получу деньги, приду домой и могу жить. Если я получу за свою работу — я согласен работать как угодно...

Вот я тебе расскажу, как у нас сделали одного Героя Соцтруда. Не было бы обидно, если бы я его не знал. А то я же его выучил работать на экскаваторе. Он был мой помощник — такой лентяй, не хотел работать. Бывало, просидишь 12 часов за рычагами, даже не 12: с 6 утра у нас начиналась смена, и в 8 вечера мы кончали, устанешь, скажешь: я немного посплю, садись, поработай. Через полтора часа он приходит: Костя, что-то у меня не получается, портится машина... Просто не хочет работать. Наконец, я его прогнал: ты, говорю, уже сам машинист, иди. А потом ему дали Героя! Почему? Потому что туркмен, национальный кадр. А я армянин. Я тебе могу по пальцам пересчитать всех экскаваторщиков, не только на канале — в республике, которые зарабатывают много, сколько я. Несколько человек. А остальные — 230–240 рублей...

Я жену поставил на ногу, я тещу поставил на ногу — всех поставил на ногу...

— Когда туркмен бедный, у него одна кошма и жопник, которым чайник накрывают, он сидит вот так (показывает на стуле). Когда становится богаче и у него уже есть ковер, он обе ноги под себя поджимает, сидит вот так. Когда совсем богатый становится, он вот так сидит (обе ноги поджав, откинувшись назад) и чай пьет.

Аргумент в споре о Сталине. «Как же ты споришь? Ты фильм смотрел? Видишь, как в фильме показывали? А ты споришь».

«Ты говоришь, Сталин не был на фронтах? А мой друг, Вася, шофер, видел Сталина в госпитале»...

1967, СЕНТЯБРЬ

Санаторий. Разговоры в палате

Опять я завел в палате разговор о политике, взбаламутил людей и сам нервничался. Но, в общем, я доволен. Разговоры длинные, жаль, не смогу всего записать.

Начали мы с одним шахтером из Кривого Рога, Григорий Сторчевой его зовут.

— Я работал машинистом дробилки — руду дробил. Машина работала так плохо — оставались куски сантиметров на 50, грохот не пропускает. Приходилось кувалдой дробить. Приходит начальник. Я говорю: что делать? — Ну, ничего не поделаешь. Я говорю: А если вам в рот 300 грамм колбасы лезут, а я вам полкило зах...рю? Он крикнул: дурак! И пошел.

Обозлен на эту жизнь. «Мне 46 лет, а что я хорошего в жизни видел? Голод, холод, нищета? Дед мой был на засылках (в ссылке), отец сгнил на работе, должен же я лучше жить?»

Рассказывал, как его впервые схватила боль в пояснице, и он даже лег. А проходивший мимо главный инженер пнул его ногой: ты что разлегся во время работы? Напился? И, не слушая объяснений, заявил, что уволит его с работы. И действительно, по почте прислали ему трудовую книжку; а он тогда уже слег в больницу. Но юрист его заверил, что он с этого главного инженера получит все до последней копейки, пусть себе отдыхает и лечится.

Как он добивался квартиры, получив на работе травму. Ему на голову выпала порода, когда он работал на дробилке. Схватил в свои костыли коменданта. А до этого женщину в Собесе, а до этого врача, который отказывался ставить его на инвалидность. Я представляю, как он замахивался на них костылями в страшной злобе, а потом падал без чувств от нервного перенапряжения. Но комнаты он только так добился, и пенсии добился. (Пенсия и зарплата у шахтеров, по его словам, мизерные; профессиональной болезнью считается только силикоз...)

Как дочка его поступала в институт. Провалилась и поступила лишь на следующий год, когда он дал взятку кому надо. Он работал на всех возможных работах, был бурщиком (так он произносит «бурильщик»), был крепильщиком, дробильщиком, машинистом и т.п.

Рассказывал мне все это и бушевал насчет несправедливости начальства, насчет продажной жизни, насчет того, что партия наша — лживая партия. А я его подталкивал вопросами дальше: ну, а в чем же причина? — А в том, что наверху сидят говнюки. — Ну, а почему бы их не сменить? — А что мы можем? — А почему же мы не можем? — А я скажу, — наконец, выпалил он. — Потому что однопартийная система. Если бы было несколько партий, и он бы знал, что его не выберут, что я его провалю. — Ну вот, видишь, — говорю я. — Ты сам все понимаешь, как академик. — А что, — волновался он, — я, конечно, только свои шесть классов кончил, но у меня голова от мыслей во как пухнет...

Рассказывал мне про восстание в своем Кривом Роге. Там милиционер прогонял с переулка бабку, которая торговала подсолнухами, наконец, пнул ее ногой. При этом оказался рабочий, вроде бы из заключенных, которых много было на рудниках. Накинулся на милиционера, подоспели еще три милиционера и еще рабочие. Милиционеров всех четырех убили, заняли здание милиции и подожгли его, не выпуская тех, кто выпрыгивал со второго этажа. Потом еще народ подошел — а кинооператоры и фотографы все крутили на пленку, запечатлевали лица. Потом вызвали войска, азиатов, как говорил он, они ничего не слушали, били пряжками от ремней, иногда это получалось насмерть... В общем, с десяток убили и много сотен посадили. Одновременно были события в Одессе и Николаеве; там моряки отказались грузить масло за границу — а у них самих масла не было. Это было в начале осени 64-го, перед самым снятием Хрущева.

Много подробностей рассказывал. Как он стоял у ларька и пил пиво, а милиционер его стал похлопывать только что полученной резиновой дубинкой, демонстрируя ее, и как он огрызнулся: еще хлопнешь, я у тебя ноги из жопы повьдергаю!..

Микола Марченко из Белой Церкви

— Приходит цемент — еще хуже, известь. Глаза залепляет. Я надел респиратор, так чуть не задохнулся. Говорю: не буду разгружать. Вы мне обещаете пять рублей премии, а я за это разгружать, да еще в срочном порядке? — Тогда мы тебя рассчитаем. — Рассчитывайте. А кто будет работать, если рассчитают? И я их всех заставил. И начальник, и все прорабы, и начальник снабжения — все разгружали. Себе премию — 100–150 рублей, а рабочему, чьим горбом все делают, 5 руб. Так я никогда премию не получал. На хуй мне эти 5 руб. Чтобы они потом себе записали, что мне дали премию...

Пришла смола в ковшах, 4 секции. Пришла в понедельник, главный инженер мне говорит: ну, Микола, разгружай. Я говорю: что, цемент или известь? — Нет, смола, дело почище. Я говорю: давайте 20 руб. за каждую секцию, к вечеру постараюсь. (Мне один человек, который с котлами ездит, посоветовал: ты с них деньги возьми. Если дадут, я знаю, как сделать; а не дадут, будут три дня копать). Говорят: не можем. — Ну, тогда не буду разгружать. А дело в понедельник, они за каждые сутки простоя 50 руб. платят. — Тогда мы тебя рассчитаем. — Рассчитывайте. А рассчитать не могут, другого же никого нет. Ну, торговались, торговались, согласились на 15 руб. Я получил 60 руб., пошел к машинисту, дал ему тридцатку, тот паром котлы разогрел (специальные такие вагоны-смоловозы, сами опрокидываются), и опрокинул все котлы, вылил всю смолу на землю, и заняло все это 2 часа. Начальник хитрый, а рабочий всегда хитрей. А если бы они сами пошли к машинисту и не дали бы ему 30 руб., пришлось бы три дня долбить смолу.

Жена была больна, я специально отложил на похороны 300 руб. Считаю: 60 руб. на одну музыку, потом, гроб 20 руб., потом человеку, который яму копает, тоже платить надо. Потом после похорон обед, потом ужин, потом на другой день... И 300 рублей как не бывало.

А потом к разговору подключился один партиец, работник горисполкома, 45 лет, но уже с сединой, по его словам, много испытавший. Рассказывал, как по своей глупости попал в концлагерь (так выразился, но это место осталось темным). Как в 28 лет работал грузчиком и одновременно учился в 8-м классе вечерней школы, вечером, потаскав за день 60 тонн груза. Как грузил какие-то грузы для китайцев, сутки по пояс в ледяной воде. Как поспорил с товарищем, что пронесет на спине 200 кг соли по винтовой лестнице из трюма, но вместо железной ступеньки одна оказалась деревянной, он провалился и повредил позвоночник. Как после этого поступил в один институт (Народного хозяйства) — не потому, что этим интересовался, а потому что легче было поступить, и после этого кончил другой институт. «Я понял, что без образования никакой дороги не будет, только грузчиком». Как потом был во Франции и ФРГ с какими-то делегациями...

Так вот, в ответ на все разговоры он развил свою совершенно определенную теорию: все, что у нас есть плохого, — это от действий пятой колонны, шпионов, вредителей, следствие экономических диверсий. От этого все. «Этот подлец, который сидит в собесе, а может, и в правительстве — он, может быть, сам и не пятая колонна, но он не замечает, как его окружили, как используют для своих целей». — «И много таких вредителей?» — «Во всяком случае, десятки тысяч». — «Откуда же они взялись?» — «За 50 лет много успели заслать. И во время войны многие оставались на оккупированной территории». — «Как так? Значит, всякого, кто оставался на оккупированной территории, следует обвинять во вредительстве?» — «Ну, не всякого. Но я вам скажу, что я знаю одного, он во время оккупации был полицаем. Отсидел 5 лет, вернулся и сейчас занимает высокий пост, управляет делами, и такое вредительство приносит! Я знаю,

что подлец, но под него сразу не подкопаешься». — «Так что же делать, если у нас и вправду действует такое количество диверсантов?» — «Сделать можно. Только не в лоб, а хитростью. Нужно к нему войти в доверие, подладиться под него, действовать, как он, проникнуть в его образ мыслей, а потом — раз! — разоблачить. Не думайте, что ничего не делается. Скоро придет час, всю пятую колонну разоблачат, и тогда все станет в порядке...»

«Ну, зачем же так далеко искать причины?» — Григорий Сторчевой опять перебил разговором о сельском хозяйстве, о том, как отбирали коров и не было молока, а теперь самая лучшая корова на рынке стоит 200 руб., а есть и по 60–80 — и никто не берет.

Я спросил: «Ну почему же, когда сказали глупость, никто не имел права возразить?» — «Так это опять же экономическая диверсия. Кому-то это было выгодно. Я не скажу, что Хрущев сам сознательно действовал, как вредитель, но в его окружение пробрались разные жучки, и к Сталину так пробирались, он в них не разобрался, и сейчас пробираются вокруг руководства. И вот он сам, не замечая, плясал под эту дудку. А вы знаете, за что Хрущева сняли? Я вам объясню. Наша разведка в Америке перехватила снимки с нашего ракетного полигона, снимок был явно сделан из-под мышки руки Хрущева. Значит, за ним шпион прятался». — «Ну, это же глупости, сплетни, — не выдержал я. — Это на базаре бабы рассказывают. Об охране ракет должен заботиться КГБ, и за это дело их нужно снимать, а не Хрущева. Но если было так, как вы говорите, так это еще хуже. Значит, его сняли не за те беды, которые он принес народу, не за все его провалы, а из-за случайности, и если бы не попалась эта фотография, он так бы и остался. Разве это хорошо?» — «Ты очень многого не знаешь, ты еще молод, а я — вот, — он показал на свою седину. — У нас был один секретарь парткома, ужасный гад, и ничего не могли с ним поделать, всю власть себе забрал. Наконец, однажды мы докопались: он пишется как русский, а на самом деле крымский татарин». — «Ну и что, что татарин?» — «Как ну и что? Он имеет высшее образование, у немцев служил, столько жизней загубил». — «Ну, значит, дело в том, что у немцев служил, а не в том, что татарин». — «Нет, — говорит он, — вам меня не победить и не сбить». — «Я вас и не пытаюсь убедить, я хочу доискаться до причин». — «А кого же ты хочешь убедить? Вот этих? — Показал на Григория Сторчевого и еще одного. — Так что их убеждать? Они темные, необразованные, они слишком многого не знают».

Это он сказал напрасно, потому что они возмутились. «Я, может, не образован, — сказал Сторчевой, — но я жизнь знаю». — «Нет, я ничего не хочу сказать, но раз ты не получил образования, значит, ты чего-то не додумал. Я рассказывал, я сам грузчиком работал, 60 тонн в день на спине переворачивал, и все-таки кончил два института». — «А если он не кончил, то почему?» — «Ну, потому, что не додумал, по глупости». — «И условий не было». — «Какие там условия, я же вам рассказывал, с чего начинал». — «Так что, если не все сумели получить образование, как ты, значит, сами дураки?» — «Да».

После этого симпатии к нему заметно упали, и к моим доводам стали относиться с большим уважением. Добавилось еще и такое: «Ты хочешь сказать, что чем-то недоволен?» — «Я многим недоволен». — «А я нашей жизнью очень доволен и считаю, что мы живем все лучше и лучше. Разве ты сейчас плохо живешь?» — спрашивает Сторчевого. «Конечно, плохо. А с чего же можно жить хорошо, когда даже в кино не на что сходить?» — «Ну, это ты загнул». — «Да что загнул? — вступил другой. — Вот у меня по инвалидности пенсия 37 руб., и все. На 37 руб. разве можно прожить?» — «Ну, значит, сволочь тот, кто тебе такую пенсию назначил, только и всего». — «А откуда же он взялся? Он же не из своего кармана платит?» — «Опять же, экономическая диверсия»...

Потом, когда мы вышли вдвоем во двор, он — то ли считая, что со мной можно говорить как с более понимающим, чем они, продолжал свои доказательств. «Ты все-таки многого не знаешь. Вот, у тебя почки нету, туберкулез. Ты думаешь, отчего это?» — «Ну, отчасти от неважных условий». — «Да ты и не знаешь, отчего. Может, тебе пищу отравили, вместо нормального жира китовый комбижир давали. Я (между нами говоря) с общественным питанием имел дело — что там творится! Вот случай, расскажу тебе. Вызывают меня в КГБ, там случилось, что 60 человек отравилось неизвестно чем. 60 работников КГБ. Я прихожу, смотрю блинчики, которые они ели. Ничего не поймешь, только пахнет какой-то гарью. Я смотрел, нюхал и, в общем, понял: повариха мясо недоварила, а это самый яд, потом пережарила и все это закрутила в блины, подала». — «Что-то не пойму, — сказал я. — Она с этого имела какую-то выгоду? Может, на масле сэкономила?» — «Вот ты всегда не дослушаешь и перебиваешь. Нахватался знаний... Послушай. Я вызываю поварику, спрашиваю: вы откуда родом? — Из деревни. Работала судомойкой, потом меня выдвинули в повара. Образование четыре класса. — Русская? — Да. — На оккупированной территории не были? — Нет... И тут я сказал одно слово, и все стало ясно: она мадьярка. Проверили: точно. Была мадьярка, скрыла это, сказала, что русская. У нее высшее образование, она была на оккупированной территории... Понимаешь? И 60 человек в КГБ отравила». — «До смерти?» — «Зачем же до смерти? У них печеночная рвота была. А ты говоришь...

У меня был один друг, гений нашей разведки (он назвал фамилию, но я забыл), трижды Герой Советского Союза. Три раза ходил в пекло и три раза возвращался. А после войны спился и умер. И знаешь, в чем дело? Оказалось, к нему жену подослали. Жена оказалась завербована. Его друзья говорили: жена на тебя плохо влияет. И вот он от обиды, что она на него плохо влияет, стал пить и спился. А она до сих пор в прокуратуре работает». — «Постой, как же это? Если ее подослали, почему ему про это друзья говорили, а не органы, которые должны были разобраться?» — «А ты думаешь, в органах мало пятой колонны?»

«Вот я знаю одного старого большевика, члена партии с 1905 года... Так мне плевать, что он с 905-го года, я вижу, что он меченый». — «Как меченый?» — «Ну, метка у него такая есть, понимаешь? Такая штука, по которой в определенной организации друг друга узнают». — «И что, эту штуку можно заметить?» — «Можно, кто знает». — «Так получается, безвыходное положение? Вы, коммунист, знаете и это терпите?» — «Ничего, придет время. И довольно скоро придет. Всех их расстреляем без суда и следствия». — «Ну, суд и следствие стоило бы оставить, и с обязательным правом на защиту». — «Да он такой образованный, что не любому юристу с ним справиться»...

Тамара Андреева, художница

— В 50-м году я кончила только 7 классов, и умерла мама, мы остались совсем одни с сестрой Людой, в длинном сером бараке, в котором было полно тараканов. Когда приходили вечером и зажигали свет, все было ими облеплено: стены, подушки... Была еще старшая сестра, но она была замужем, у нее была своя семья, трудно было ее кормить. Люду взяли в детдом, ей было тогда 12 лет, и она была здоровая, а мне было уже 14 лет, там держали только до 15, брат на один год не было уже смысла. Да, может, и был, но у меня был пневмоторакс на обоих легких (меня уже поддували в обе стороны). Один год я проучилась в лесной школе, в Барнауле, а потом вернулась в Рубцовск. Я одну за другой продала все вещи: стол, стулья, кровать, а когда остался один абажур, который висел в голой комнате — делать уже было нечего. Сестра мне дала денег на дорогу, и я уехала в Москву. В Москве жил мой брат (он и сейчас там живет).

Я давно мечтала попасть в Москву. Мне казалось, что если я только увижу Москву — то буду самым счастливым человеком на земле. Вот была дура, чего мне надо было в Москве? Теперь бы я ни за что туда так не стремилась. А тогда я собирала открытки о Москве. Я давно туда собиралась. Но на мои телеграммы брат отвечал телеграммами: не выезжай, жди письма. А в письме каждый раз было написано, что он в этом году уезжает — то на Рижское взморье, то на Кавказ. Жди до следующего лета. А теперь мне нечего было делать. Я поехала в Москву и решила поступать в Строгановское училище. Без всякой подготовки — такая смелость бывает только в 16 лет, сейчас я бы ни за что не решилась.

В Москве мне однажды нужно было узнать время, а часов нигде рядом не было. И мне посоветовали позвонить по телефону, по номеру 100, там мне скажут. Я не поверила, но все-таки позвонила. И вдруг мне действительно сказали, сколько времени. Я так растерялась, что даже сказала: спасибо. Я думала, там живой человек сидит и отвечает...

В Строгановском тогда, в 52-м году, было 8 курсов, туда принимали после 7 классов. Я не знаю, почему меня приняли. Конкурс был огромный, и многие рисовали лучше меня. Но, может, что-то увидели в тех работах, которые я привезла из дома, может, просто учли, что я без подготовки — и приняли. А если бы не приняли, я не знаю, что бы я делала. Я поселилась в общежитии, в Салтыковке, по Горьковской дороге. Чтобы поспеть к 9, надо было вставать в 7 утра, и нагрузка была большая: с часу до 5 у нас был рисунок (в субботу с часу до 5 — лепка), кроме того, надо было учиться в общеобразовательной школе. Вместо 150 рублей стипендии мне выдавали талоны на обед: мы питались в высотном здании возле Красных ворот; там был ресторан, к которому наше училище было прикреплено. 5 рублей в день на обед. А на завтрак у меня ничего, не было. И я была дистрофик: при таком же росте, как сейчас, я весила 38 килограммов. А сейчас 50. Можно было, конечно, устроиться подработать, старшекурсники это умели, и я бы рано или поздно нашла такую возможность. Но у меня просто не было сил, очень большая нагрузка. Пределом мечтаний был маленький чемодан, в который я могла бы положить тетради; учебников у меня не было никаких. В декабре у меня началась температура, но я держалась до весны, пока совсем не свалилась. Меня продержали в стационаре две недели, сбили температуру стрептомицином и выписали. Потом я попала в детский санаторий в Гурзуфе, потом сюда, в 54-м, и устроилась на метеостанции метеорологом. Ветродум. Платили мне 375 руб. (сейчас это 37). На обед и ужин в коммуналке мне хватало, а на завтрак нет. А я еще училась в вечерней школе, хотела кончить 10 классов и вернуться в Строгановку, заниматься там только рисунком, а в оставшееся время подрабатывать. Я все еще считала, что это временный перерыв. Меня опять немного подлечили и опять выпустили. Но главное не в этом. Я простудилась. Как сейчас помню, в тот декабрь две недели подряд шли дожди, а у меня не было бот, и я промокла, и потом оказалось, что у меня уже дыра в пол-легкого, и легкое расплзается, как кружево — все это уже подготавливалось. Как это страшно и глупо: у меня просто не оказалось 460 рублей на боты. И из-за того, что у меня не оказалось 460 рублей на боты, я теперь расплачиваюсь всю жизнь. Мне уже трудно заботиться о чем-либо другом — только о том, чтобы выжить...

1968, МАЙ

Попутчики в поезде «Верховина» Львов — Москва

Курсант военно-морского училища в Одессе Толик, из Костромы — худенький, щуплый мальчик с изуродованными пальцами, заплетающимся языком. Четыре года уже отслужил (две нашивки), осталось еще два. Потом будет штурманом, лейтенантом, а служить ему 12,5 года (в сухопутных частях — 25 лет).

Тяжело ему, конечно, при такой физической слабости. Я говорю: «Не жалеешь, что туда пошел?» — «Конечно, жалею. Надо было кончить 11 классов (он кончил 8, 47-го года рождения), потом, может быть, в институт поступать». А что ему плохо, объяснить не может. Дисциплина военная трудная.

Потом, выпивши, стал хвастаться: «Моряку в море легко. Что ему делать? Четыре часа отработаешь, потом дрыхнешь. А штурману лучше всех. На судне 7 штурманов; если 7 дней шторм, каждый поработает сутки, и больше нечего делать». Плавал уже в учебные рейсы в загранку, был во Франции, Англии, Китае, но вряд ли пока видел там что-нибудь: курсантов одних на берег не пускают; станет офицером, тогда пустят. Но знает, что выгодно везти узкоплечные аппараты: за них во Франции дают двойную цену. Напившись, все порывался идти искать женщину. (Господи, мальчик на вид!)... «Меня сухопутный патруль не имеет права остановить. Только морской. А сухопутный — никакой, ни сержантский, ни офицерский. Если остановят, я их пошлю, знаешь как». — «Ну и получишь десять суток», — ответили ему.

Напился быстро, сразу заснул, еле растолкали его под Москвой. Второй — младший лейтенант, младший техник из Москвы. Едет из Тернополя, где был в отпуске. Был до армии портным, потом переквалифицировался на строителя. Сильно потеет, подмышки постоянно мокрые, потное лицо быстро краснеет; чуть курчавый. Выставил нам на стол горилки 45°, без конца пил.

Третий попутчик назвал его (за глаза) колхозником, шерамыжником. «Нет, даже не шерамыжник — дуб». Демобилизованный, из Венгрии. О нем особо.

Он трепался со мной до часу ночи и потом следующее утро, говорил: «Тебе все это дико слушать, да?.. Вот, набрался впечатлений, книгу напишешь». Я чуть было ему не сказал, что об этом уже написал книгу. Удивительно точно воспроизведена ситуация «Попутчиков»¹: демобилизованный, офицер и курсант-мальчик, отпускник, трое в купе. Я четвертый. И взяли этого Валеру с третьего курса, и девушка у него осталась. По ходу рассказа то и дело соответствия.

Но, конечно, его рассказы богаче живым, подлинным содержанием, чем мое худосочное сочинение. Подробности вряд ли печатные, а впрочем...

Итак, Валера Исаков, демобилизованный интеллигентный казах. Мать у него русская, и по чертам лица это заметно; скулы не так широки, глаза не так узки, нос не так приплюснут. Когда в 12 потушили верхний свет, в вагонных сумерках лицо его было почти лицом обычного московского юноши 46-го года рождения. Говоря, он этак изысканно поигрывает ртом, кривит губы; у него некрупные ровные казахские зубы. Говорит по-русски интеллигентно, почти без акцента, только иногда чуть подчеркнуто тянет «а»: па-анимаешь. Любит ученые слова, особенно «нюанс», вставляет его при надобности и без надобности: «Это, конечно, все нюансы, но я тебе рассказываю», «И тут получился такой нюанс». Любит слово «мрак». А в общем, взрослый мужчина; я впервые чувствовал себя так явно немолодым; т.е., разговаривая с ним как с равным, то и дело вспоминал, что сам на девять лет старше, и его тянуло время от времени говорить мне «вы».

Живет он сейчас в Алма-Ате, жил в Чимкенте. Дед у него разводит коней и изготавливает кумыс для местного знаменитого санатория. Он и сейчас в 70 с лишним лет пьет по утрам огромный бокал вина и не пьянеет. Приедут к нему гости, режет двух свежих баранов. («Вот сейчас самое нежное мясо, январского окота, к маю-июню оно нежное».) И сейчас может вскочить на коня, схватив его за гриву, без седла поскакать. Когда Валера учился на коне и падал, не удержавшись, он подскакивал к нему и бил камчой — так он учил внука ездить. Он и

1 У меня была повесть с таким заглавием, позднее уничтоженная вместе со всеми работами до 1972 г.

сына своего, отца Валеры, может оттянуть камчой, и тот ничего не скажет — а отцу сейчас пятьдесят три года.

Отец у него окончил исторический факультет университета, в войну служил полковым комиссаром, потом работал в облоно, потом был первым секретарем Чимкентского обкома партии. В 1953 году его посадили — обвинили во взятке, конфисковали все имущество, коттедж, книги, машину, целое состояние. Остались босы-голы. Просидел год, вернувшись, стал опять служить в облоно, в Алма-Ате, постепенно поднялся до зав. облоно, потом стал служить в министерстве и оттуда опять загремел. Теперь он директор школы, преподает историю, раньше преподавал логику. Дело в том, что у них полгорода — родственники; он при случае упоминал: и прокурор — дядя, и директор торговой базы — другой дядя, все друг друга знают, все просят о месте; на каком-то из родственников, короче, он и погорел.

«Сейчас он стал маньяк, — рассказывает Валера. — Мне даже его жалко. Сейчас ему 53 года, я его три года не видел. Может, он еще хуже стал. Он помешался на Сталине. У него со времен войны хранится целая стопка всевозможных грамот, и там вроде бы есть подписанные Иосифом Виссарионовичем. Когда в 56-м году стали снимать портреты, он обошел все учреждения, где снимали портреты, брал их себе — больше 100 портретов, запер в комнате, собрал все книги, все, что когда-нибудь выходило за подписью Сталина — все у него в ящиках и на стеллажах в закрытой комнате дома. И время от времени он туда приходит, начинает перебирать все эти книги и бумаги, иногда двое суток перебирает, никого туда не пускает. Достает грамоты и целует. Потом закрывает комнату на ключ и опять становится нормальным».

Живут они сейчас, судя по всему, неплохо. Во всяком случае, Валера имеет свою «Волгу», подаренную отцом, время от времени компанией они ездят в горы или вот к своему деду. По его словам, «Москвичей» там не покупают, даже «Москвич-408». Какой-нибудь чабан приходит с гор, получает 11 тыс. за год, покупает сразу «Волгу» — ему дают без очереди, и она стоит у него весь год без дела, ржавеет.

Когда его призвали в армию, отец мог освободить его без малейшего труда — и не только его, а еще 12 соседских детей. Но он этого не сделал, сказал: там узнаешь, что такое жизнь. «Я из-за этого с ним поругался; сейчас еду, не знаю, как он меня встретит. Конечно, я был не прав, нельзя было с отцом так разговаривать. Но я каждому пятому закажу идти в армию».

Взяли его с третьего курса юридического факультета; туда он попал тоже по знакомству: его дядя (или какой-то другой родственник) был деканом этого факультета.

Была у него девушка, Светлана; они вместе учились с 5-го класса, сидели на соседних партах, а с 8-го класса — на одной парте. Решили поступать в один институт — в медицинский. Но он был не в ладах с точными науками, и тут дядя ему сказал: как у тебя с иностранными языками? — Знаю какое-то количество слов по программе. — Ну, иди ко мне. И он пошел. А она кончила медицинский институт, работает хирургом. Писала, что устала ждать.

Она приезжала к нему, когда он был в учебном, в Каменец-Подольске (в Союзе, как говорят служащие за границей). Ему дали отпуск 11 дней. Она увидела, его и, когда пришли в гостиницу, вдруг заплакала: «Что с тобой?» Он даже расстроился. «Что ты плачешь? Ну, не надо». — «Ты что, больной? Почему ты такой худой?» — «Да я через день бегаю 3 км». Она не поверила. Тогда он ее повел на плац — он знал, что в этот день его солдаты должны бегать с полной выкладкой, и впереди пузатый старшина-сверхсрочник — но он привычный, он бегаёт лучше их. «Я был спортсмен, игровик, у меня первый разряд по волейбо-

лу и баскетболу, второй разряд по боксу. Но сейчас у меня со здоровьем неважно, сердце побаливает. Я там бросил пить, курить...»

Провели они в гостинице все дни. Она привезла шампанское и коньяк, но он не пил, и она удивилась: Валера, ты что, пить перестал? Он сказал: я могу напиться, и ты напьешься, и мы заснем, и всю ночь проспим — будет на одну нашу ночь меньше...

Но однажды раздался в номере звонок, и дежурный сказал ему только позывные 01 — это значит, тревога, общий сбор. Он как лежал с ней голый в постели, так вскочил, ничего не спрашивая, и побежал. Там их посадили на машины и помчали за 70 км. на исходные позиции — которые предусмотрены на случай войны. Даже не спрашиваешь, что, почему, зачем. Через день они вернулись, он пошел к полковнику: товарищ полковник, разрешите продолжить отпуск. — Разрешаю. Он вернулся в гостиницу. Светлана, как он оставил ее, неодетую, так и сидит, только что-то на себя накинула, и плачет, вся распухла от слез — безобразная стала. «Я думала, что началась война».

Вот что едва ли не самое тяжелое в этой жизни — постоянная оглядка, мурашки по позвоночнику: сейчас могут позвонить, найти, вызвать; там ни секунды не принадлежишь себе.

Он служил всего 38 месяцев... Молодым солдатом около двух месяцев, потом сразу 6 месяцев в учебном. Когда он написал об этом Светлане, она сказала, что, если он это сделает, она отравится. Она не поняла, думала, он на офицера идет учиться. Потом он объяснил.

Между молодыми солдатами и «стариками» огромная пропасть. В последнее время у них был такой ритуал. Ежедневно вечером команда: «Молодым встать, солдатам второго года лечь в постели!». И произносили: «Старикам осталось до увольнения столько-то дней. Поприветствуем стариков!». И старики лежа принимали приветствие. А если кто-то не приветствовал, старик подходил, велел ему снять штаны и тапочком по голой заднице бил столько раз, сколько ему оставалось дней служить. У них в тумбочке был календарчик, на котором молодой каждый день должен был отмечать, сколько старику осталось служить, вычеркивал даты. А если не вычеркнет — такая же экзекуция по голому заду. Был там один «старик» — колхозник, безграмотный, он устраивал такие экзекуции для собственного удовольствия. Заставит снять штаны и бьет тапочком. И однажды, когда Валера был еще молодым, полез к нему. А тот лежал на нарах (молодые лежат наверху, а старые — всегда внизу) и прижал его ногой, горлом к кровати — чуть не удавил. Тут все выскочили в коридор, хотели его бить. «Я говорю: я экзекуции не потерплю. Хоть бы за дело, а то для собственного удовольствия». Но избил бы, если бы не нашелся один умный сержант, он сказал: оставьте его.

А то старик мог позвать к себе молодого и сказать: Эй, молодой, иди сюда. Тот подходит. Пошел на х...! Слышал, что я сказал? Пошел на х...! — К-как? Берет его, поворачивает и пинком под зад. Просто так, от нечего делать».

Когда Валера вернулся из учебного в звании сержанта, многие старики сначала не хотели ему подчиняться. «Тут надо было сразу себя поставить. Он сразу дал одному, другому наряд на работу. А для старика получить наряд на работу — это позор. Не пойду, и все. Выводят всех строиться, стоят. Объявляют наряд, а он не идет. И все стоят. 50 минут стоят, потом 10 минут перекур — и опять стоят. Делать нечего, попробуй не пойти — все будут стоять. В том-то вся система, что все будут стоять».

«Наконец, пошли жаловаться к командиру батальона: издевается. Тот вызывает: старики жалуются. Я говорю: а вы попробуйте с ними на моем месте. Он: у меня народ золотой. Я говорю: если вы ребят лучше знаете, тех, с которыми я каждый день живу, — тогда вот вам печать, ключи, и не буду я старшиной.

Он: ну зачем сразу лезть в бутылку? Я: тогда, вместо того чтобы принимать жалобы, вы их взгрейте за то, что полезли через голову. Потому что они должны сначала доложить помкомвзвода, тот комвзвода, только тот командиру батальона. А то у нас есть такие офицеры, которые теряют свое достоинство, честное слово. Придет полковник, увидит, что у кого-то не застегнута пуговица, и сделает ему замечание. Он же унижает себя, честное слово. Рядом стоит лейтенант, который только что с этим солдатом разговаривал и даже сигаретами угощал, и не сделал ему замечания. Так вызови его в кабинет и взгрей как следует, чтобы он больше такого не допускал. А то сам — замечание...

Ну, многие меня считали зверем, но потом, когда уходили и прощались, все подходили и говорили: прости, Валера. Служба службой, понимаешь, чего не бывает? И плакали, представляешь? И у меня самого слезы, честное слово, невольно. И играла музыка, марш “Прощание славянки”, знаешь? О, вернусь домой, закажу подруге записать этот марш на пленку и целый день буду слушать.

Так я себя с ними поставил. Зато и себя не распускал. Потому что, если у тебя расстегнута пуговица или спущен ремень, и мимо тебя идет солдат с расстегнутой пуговицей и ремнем — ты не можешь сделать ему замечания. В личное время он может ходить с расстегнутой пуговицей, но без ремня, а с ремнем не имеет права, и ты не можешь сделать ему замечания, потому что сам расстегнут. И я все три года, как ни трудно, но сам себя держал застегнутым, подтянутым, иначе ничего не мог бы сделать.

У нас в учебном знаешь как себя сержанты и старшины поставили? Увидишь его за сто метров — и сразу сворачиваешь. Утром он подходит, проводит по щекам, и если рука встретит какое-то сопротивление — сразу в наряд. Будешь чистить очко, или возьмешь стеклышко и будешь драить полы, потом натирать, да так, что, если он посмотрит — должен себя увидеть. Если не увидит, его это не устраивает.

Вечером должен за 50 секунд раздеться и аккуратно сложить обмундирование. Не уложишься в 50 секунд — он всех поднимает и заставляет делать заново. Всех. И попробуй еще раз не уложиться — в тебя сразу кинут сапогом или табуреткой, а потом еще будешь драить стеклышком пол.

Интеллигентов, студентов после института действительно могут третировать всякие колхозники, сержанты, старшины. Ах, студент! Это тебе не книжки читать. Иди-ка почисти очко. И сам еще посрет на доски. Но я не понимаю, как некоторые унижаются. Они пишут женщинам домой письма — я читал: мол, служу, запускаю ракеты, делаю дела — а сам в уборной трет очко. Я бы этого не вынес. Это же нужно не иметь никакого самолюбия. Был у нас один из Саратова, мы с ним вместе в карантин ехали, его на вокзале провожала женщина — это все отдать можно за такую женщину. Потом ему письма писала, умные, грамотные, с такими образными сравнениями. А он позволял, чтобы его посылали очко чистить...

Когда я еще только начинал служить, мы ехали в карантин, я подрался с одним стариком, сержантом, рязанским. Он меня назвал “черный”. Я не мог этого стерпеть. Сам колхозник, три класса кончил, по-русски плохо говорит — а меня черным обзывает. Это для меня оскорбление. Я его бил — никто слова не сказал. Все стояли, видели, что молодой избивает старика, но не сказали...

Если мне приходится назначать начальника отделения, и есть двое: русский, окончивший 11 классов, и украинец, я всегда назначаю русского. Потому что, даже если они оба окончили 11 классов, так он умней. А тот, как был колхозником, так и остался...

Офицеры только говорят о преданности, о службе, а приходят домой — локти кусают. Прослужил 15 лет, потом понял, что ошибся, — и злится на себя. И на других срывает. Они сами ни во что не верят, что говорят...

А некоторые из деревни, конечно, рады и на сверхсрочную остаться. Конечно: спишь на двух простынях, тебя кормят, поят, о тебе заботятся. Он только в армии по-русски разговаривать научился, теперь даже не понимает, как в колхозе живут, других колхозниками называет...

Служил в ракетных войсках. Знаешь, я сколько имел одних боевых запусков? Тринадцать. А никто не имеет больше пяти-шести. Так получилось, что я стрелял однажды на учениях и имел 98% попадания в запусках земля — воздух, и 80% попадания в запусках земля-земля. На 3% лучше, чем у других. И меня послали на войсковые учения. А там я тоже дал пять запусков: 88, 95, 98, 92, 89%. Меня генерал расцеловал... Так я набрал тринадцать запусков. А каждый запуск — это буквально у тебя из головы вылетают, потом два месяца ходишь потерянный. Ты сидишь в бункере, пусковые двигатели работают 15 секунд, но кажется, что это целый месяц. Тактические ракеты легко запускать или учебные. А боевые запуски (мы на север стреляли) — тяжело... Я подумал: если будет настоящая война, с использованием всех этих средств, да еще атомного оружия, — мало что останется. На таких учениях предусмотрено 10% жертв, а на дивизионных — 3% жертв»...

Как там пили, ухитрялись доставать водку. Если попадешься, наказывают очень строго. Приносили самогон в сапогах, в которых ходили, прямо из сапога и пили. Покупали после полочки десятков коробок шоколадных конфет с ромом или коньяком; в каждой конфете 10 грамм рома или коньяка, стоят они что-то 20 форинтов... Жил там один крестьянин, делал вино, можно было пробраться к нему садами, напиться у него и другим принести. Он брал за это солдатское белье, даже портянки, мыло хозяйственное особенно; что с этим делал — непонятно...

Была у них проститутка, Ирка, ее привозили в казарму и прятали на чердаке. Каждый солдат отрезал ей с каждой еды кусочек хлеба, масла, всякой другой еды, кормили ее, потом е...ли человек 50–60, снова прятали, давали отдохнуть, кормили и снова ебали. Я не сразу поверил: невозможна такая выносливость. Ну, наверно, такая баба. «Зато зарабатывает как: с каждого солдата 20 форинтов, это 1000 форинтов за один раз с 50 человек, она никогда бы столько не работала. Толстая баба, у нее дочка. Их там три проститутки, одна купила на эти деньги машину. Обслуживают пехоту и артиллерию».

На книжке у него к концу службы осталось 180 руб... Он их все пропил за два дня во Львове. И в поезде фуражку потерял — теперь не знает, как по Москве будет ходить. Денег он не считает. «Я никогда не знал цену деньгам. Может, теперь узнаю»... Чуть не женился во Львове. Познакомился, как он рассказывает, на вокзале с кассиршей, она сказала, что согласна выйти замуж, позвала к своим родителям, представляться. Но он, конечно, сел в поезд и уехал... Сейчас едет домой в смятении чувств. Ждет ли его Светлана, не знает — но даже в мыслях не хочет ее оскорблять. Раньше он ее любил, сейчас так сказать не может — просто отвык. Расписаться он ей предлагал десять раз, но не хотелось строить все на формальности. Планы на будущее строить устал. Все три года о будущем думал, и эти мысли — все равно что камни кидать об эту стену, они под стену и падают. Вероятно, вернется на 4-й курс юридического факультета. Думает стать юристом-консультантом в торговле. Почему? «Потому что я не могу быть бескомпромиссным человеком, это я знаю. Адвокату или прокурору нужно быть бескомпромиссным и честным, но я знаю, что так не проживу. Для этого и вступил кандидатом в партию».